В.Д. Зимина

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 1920 - 30-х гг.: НОВЫЕ СПОРЫ О СТАРОМ

Одной из специфических черт интеллигентского самосознания является обостренное внимание его носителей к судьбе российской государственности. Озабоченность эта возрастает по мере усиление политической и социально-экономической напряженности в стране и особенно в модернизационные пики развития. Революционный опыт начала XX в. в этом отношении до крайности противоречив. Его изучение неизбежно влечет за собой обращение к аналитическим выкладкам представителей российской эмиграции 20 - 30-х гг., среди которых было немало участников и очевидцев революционных событий. Рассуждения же эти, по сути дела, не блистали философскими новациями, а, естественно, являлись «плотью от плоти» широкой палитры политических и социологических идей, вырабатывавшихся и не раз сталкивавшихся между собой в полемике на протяжении середины XIX - начала XX вв.

Строго говоря, все самооценки делались в рамках теорий, не нашедших себе эффективного и судьбоносного для России применения в горниле революций и Гражданской войны. Носители этих идей в зависимости от обстоятельств и степени сохранности остатков прежних губерний были западниками и славянофилами, народниками и марксистами, «эволюционистами» и радикалами. Старые споры, вывезенные за границу в эмигрантском багаже, неизбежно накладывали свой отпечаток на дискуссии о судьбе России. Единственным новым моментом здесь был, пожалуй, только вопрос о целесообразности либо возвращения на Родину и принятия большевизма, либо возрождения России на чужбине.[1] Именно об этом говорил в одной из своих бесчисленных речей И.А. Бунин в Париже 16 февраля 1924 г., призывая всех соотечественников к миссионерской деятельности «от имени нашего Божьего образа и подобия…, от имени России: не той, что предала Христа за тридцать серебренников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости и всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной».[2]

Лавинообразный поток мемуаров, исторических романов, полемических статей, был весьма далек от научного анализа причин и следствий произошедшего в России.[3] Вместо него присутствовало многовариантное объяснение произошедших событий, носившее субъективный характер. Атмосферу этого всеобщего поиска «правды» довольно точно отразил И.С. Солоневич, писавший о том, что «люди жонглируют фразами, которые не имели ровно никакого содержания - фразами героическими, демократическими, монархическими или республиканскими, совершенно не интересуясь ни тем, какому именно русскому явлению соответствуют эти фразы, ни тем более тем, какое именно впечатление они произведут на Россию».[4]

В общественном настроении эмиграции царили позитивистские тенденции двоякого плана, когда отдавалось предпочтение накоплению как можно большего количества фактов с уверенностью, что они вскроют те специфические формы, в которых проявляются законы исторического развития.[5] Развитие общественно-политической мысли русской послеоктябрьской эмиграции было связано с существующей мировоззренческой трансформацией, следствием которой был отказ от восприятия всего «правого» как символа зла и реакции, а «левого» в свете большевистского террора, - как символа демократического обновления России.[6]

Преобладание в межвоенный период во всех исследовательских учреждениях Российского зарубежья методологии и методики позитивизма не могло не затронуть и политических дискуссий, связанных с выяснением роли и места революционного процесса, вообще, и февральско-октябрьских событий 1917 г., в частности, в развитии отечественной истории. Вопрос о смысле революции, несмотря на всю кажущуюся его теоретичность и отвлеченность, являлся в то время основополагающей проблемой практики. Решение ее предопределяло позицию каждого эмигранта, его политическое кредо, его отношение к политическим процессам, происходившим в России, отражая также тот след, который оставила революция в судьбе каждого социума. Не случайно полемизировавших особенно интересовало, по признанию лидера российского либерализма П.Б. Струве, «разрушительное и противокультурное содержание» состоявшегося. Альтернативно делались выводы как о «неизбежности» революции, так и о ее «внезапности» и «непредсказуемости», преломлявшиеся через выяснение «извечных» вопросов о местоположении России между Западом и Востоком, о специфических чертах русского национального характера и об уроках общественно-политического движения.

Поиски ответов породили и «теорию двух революций» («благодетельной» Февральской и «злокозненной» Октябрьской), и концепцию «единого революционного процесса» («Октябрь должен был завершить Февраль»), в соответствии с которыми одни (левые) считали революцию исторически неизбежной, а другие (правые) смотрели на нее как на «историческую катастрофу».[7]

Искусственность всех этих построений была очевидной, поскольку, соглашаясь с Солоневичем, невозможно ни одной теорией объяснить российскую революцию, возникшую «из чрезвычайно сложного узла событий».[8] Но без их сопровождения не могла обойтись активно развернувшаяся в эмиграции перегруппировка политических противников победившего большевизма. В связи с этим остро встал вопрос о соотношении в политической системе России революционного и эволюционного начал. Один из лидеров евразийства князь Д.П. Святополк-Мирский, например, писал о преобладании революционного над эволюционным как специфической черте российской государственности и объяснял тем самым «катастрофический характер» всех событий, начиная с реформ Петра I и кончая «освобождением крестьян 1861 г.».[9]

У него было немало единомышленников из числа тех соотечественников, которые, как, например, Солоневич, все социальные потрясения России выводили из несовместимости в Петре I качеств «великого человека» и «царя», приведшей к падению российского «национального самоуважения».[10] Подобного рода характеристики относятся к более позднему периоду Российского зарубежья, когда стенания о «предательстве союзников», «вине интеллигенции» и «ошибках белых вождей» отошли на задний план, предоставив место более глубокому, «корневому», осмыслению произошедшего. Тот же Солоневич в качестве причин национальной трагедии выделил культурно-техническую отсталость, постоянное военно-географическое расширение России, несколько неудачных войн подряд, «мировое еврейство» и, наконец, «вековой спор между тремя основными силами внутри русской жизни: монархией, дворянством и народом».[11]

Иллюзии о возможности восстановления в России монархического идеала, вытекавшие у Ильина и Солоневича из глубоких философско-исторических исследований российской истории, соседствовали с иными предвидениями будущего России как, например, с моделью С.Н. Булгакова и Г.П. Федотова о социализме как выражении общечеловеческой нравственной сущности христианства («христианский социализм»), с концепциями «христианского анархизма» Д.С. Мережковского, и «персоналистического социализма» Н.А. Бердяева, а также с признанием колоссальной роли азиатской составляющей в российской истории («евразийство»).[12]

На этом фоне «мартовский образец» российской революции воспринимался событием исключительным, отбрасывающим тень на всю современную историю и культуру, отражая кризис интеллигентского сознания, возникший из преклонения перед революционными традициями, с одной стороны, и из разочарования в практическом пути революции, с другой.[13] Несоответствие образа революции ее конкретному воплощению вызывало противоречивые заявления о том, что причинами свершившегося были «злой гений» - Распутин, евреи, слабость и безволие Временного правительства, безответственность Керенского и т.п. Всерьез эти причины не воспринимались, хотя, например, в литературной среде сильны были настроения о сатанинском начале, о «планетарном злодее, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию».[14]

Большинство же пыталось осознать социальную природу и историческое предназначение революции. По свидетельству известного эмигрантского журналиста М.В. Вишняка, независимо от ее признания (как «факт» или как «принцип») все сходились на том, что ее сделала русская история и, прежде всего история русской самодержавной власти.[15] А отличавшийся своими демократическими настроениями публицист Б. Яковенко склонен был рассматривать российскую революцию как результат борьбы «демократизма с автократизмом, в которой победил первый, сметя с лица земли самодержавие как политический институт и принцип».[16]

Оценки революции как главной антисамодержавной силы, пожалуй, были самыми распространенными. Гораздо сложнее определялась среда, по-

родившая «русскую трагедию».[17] Немало было написано о темноте и невежестве русского народа, об отчужденности его от политической жизни, об отсутствии у него чувства собственности, которые, по замечаниям Д.Н. Святополка-Мирского, были результатом того, что не сложилась «какая-либо опека над мужиком» со стороны более культурных элементов общества.[18] Причины виделись в самодержавности власти, приведшей к противостоянию элиты и массы, а главное, к несоответствию формы правления потребностям реальной жизни. Потому Струве, например, характеризовал революцию не иначе как «государственное самоубийство государственного народа», а потому она была для него «антипатриотична, противонациональна и противогосударственна».[19]

Однако не все были склонны трактовать эту проблему в традиционном русле «героя» и «стада». Звучали и упреки в адрес белых вождей об отсутствии у них «какой бы то ни было смелости, то есть гражданского мужества», о неспособности найти общего языка с народной массой, у которой, по мнению, например, Солоневича, «не было ни аскетизма, ни изуверства, ни разложения государственного инстинкта». Проистекавшее отсюда «презрение к нации» неизбежно, считал он, должно было завершиться «моральной эволюцией».[20]

Иначе подходил к оценке русской революции В.А. Маклаков, назначенный Временным правительством послом России во Франции, но так и не успевший вручить верительных грамот, который в одном из писем к Кизеветтеру от 10 декабря 1923 г. доказывал, что она «была отмечена «чертами если не национального характера, то национальных привычек», а значит, должна была полностью унаследовать «психологию… старого режима», проявляясь в отсутствии «императивного уважения к чужому праву, к чужим интересам, к справедливости, праву вообще, к закону и власти».[21]

В эпицентр дискуссий закономерно попадала проблема национального самосознания русского народа. Она также решалась далеко не однозначно, хотя многие сходились на том, что не лозунги политиков определяли характер массовых движений, а традиции политической культуры, обусловленные «инстинктом выживания» и не всегда четкими контурами «идеальной власти». Этим объяснялось увлечение историческими параллелями при изучении русских «смут» начала XVII в. и начала XX в., которые, по мнению экс-трудовика Т.В. Локотя, свидетельствовали о том, что любое народное движение нацелено на борьбу «за само государство, за политическую суверенность, за национальную государственность». Между тем «смута» начала XVII в. представлялась «несомненно, более национальной революцией», поскольку завершилась «более кристаллизированной государственностью - в форме самодержавной монархии». События же 1917 - 1920 гг., констатировал Локоть в августе 1922 г., скорее вели к «политической смерти», чем к «воскрешению и новому усилению мощи и могущества России».[22]

Подобное объяснялось взаимопереплетением бунтарского и революционного начал, которые, например, писателем Л.Н. Андреевым, пробовавшим себя в 1919 г. на публицистической ниве, расценивались как порожден-

ные «единой матерью» - революцией 27 февраля 1917 г., одновременно освободившей из тюрем и политических, и уголовных заключенных.[23] В этом же русле осмысливал итоги Февральской революции и экс-премьер А.Ф. Керенский, считавший ее «единственной всенародной», а потому «чужой, непонятной, никому ненужной», и приведшей не к закреплению демократических завоеваний, а к еще большему углублению социального кризиса. «Старая Россия, - писал он 15 ноября 1922 г., - вернулась на свои разрушенные пепелища…, а профессионалы старого подполья на гребне буйной солдатчины помчались к своему октябрю и своей революции».[24]

Акцентирование внимания на социокультурном расколе, на противостоянии модернизирующейся России и традиционной культуры логично приводило к выявлению виновников из числа «мыслящих, образованных, руководящих общественных классов». По убеждению Святополка-Мирского, именно они доказали «свою духовную несостоятельность» и были «сброшены с политической арены беспощадной действительностью». Что же касается двух других элементов русской государственности - монархии и народа, то, по его мнению, они мало были затронуты «ужасами большевизма». В единении монархической идеи с «духовной социальной толщей народной» виделись гарантии возрождения национального самосознания, которое Струве считал началом восстановления Российской империи.[25]

Трудно группируемым и зависящим от индивидуальных мировоззрений оценочным суждениям об историческом предназначении революции противостояло, пожалуй, единственное общепризнанное положение, довольно четко сформулированное Н.Н. Головиным. Оно сводилось к пониманию контрреволюции как «одной из сторон диалектически развивающегося процесса революции» с миссией уничтожить «разбушевавшуюся стихию разрушения», то есть саму революцию. Если, по мнению историка Белого движения, революционный процесс останавливается контрреволюцией раньше, чем он разрушит «омертвевшие ткани старого режима», то контрреволюция легко превращается в реставрацию. А если же это происходит после разрушения, но при условии сохранения «живых тканей государственного организма», то революция приобретает «творческий характер». Если же контрреволюция, теоретизировал далее Головин, окажется бессильной в борьбе с разрушительными силами революции, то последняя становится «регрессивной и разрушает производительные силы государства и народа».[26] В этой связи известный в эмиграции своими исследованиями по проблемам революции профессор Г.Г. Швиттау считал, что отказ от контрреволюции как «насильственного низвержения достигнутого революцией политического строя» означает и «конец самой революции с ее террором, насилием и разрушением».[27]

Не соглашался с подобной трактовкой контрреволюции («слишком общая и расплывчатая») главным образом С.П. Мельгунов.[28] Он призывал отказаться от «шаблонных путей псевдомарксизма» и сосредоточиться на определении не классовых и не сословных «инстинктов» исследуемого движения, а его конкретных «знамен», чтобы тем самым отмежевать Временное правительство от Белого движения. Полемизируя с Головиным, он предлагал

термин «контрреволюция» использовать только в значении реставрационного движения. Для самого же Мельгунова революция, кстати, как и для вышеупомянутого кадета Маклакова, означала «разнузданную стихию», и, борясь за нужное ее «русло», каждый революционер, выполняя таким образом свой «моральный долг» перед Россией, неизбежно должен был стать контрреволюционером.

Причина дискуссий состояла все в той же неоднозначной оценке результатов Февральской революции 1917 г. Как писалось 21 ноября 1920 г. в передовой статье проэсеровского пражского журнала «Воля России» «Логические выводы», ее производными были две концепции, две тактики борьбы с большевизмом.

Сторонники первой исходили из того, что большевизм не был «логическим выводом из мартовской революции», а, напротив, был ей глубоко враждебен, выступая как явление не революционное, а контрреволюционное и по объективному существу своему, и по системе управления государством. Например, в одном из своих парижских обращений к союзникам в феврале 1919 г. глава Временного правительства Северной области Н.В. Чайковский отказывался воспринимать большевизм как продолжение революционных завоеваний. Называя его угрожающим всему миру «бедствием», он отказывал ему в оформлении не только как политической партии, но и как «политической и социальной концепции».[29]

Оппоненты данной точки зрения, «не признавшие открыто или признавшие неискренне мартовскую революцию», отождествляли большевизм с революцией и, естественно, призывали к борьбе против того и другого одновременно. Весьма показательно в этом отношении заявление Струве, сделанное 12 марта 1927 г. на страницах «Возрождения». «Февральская революция, - писал он, - не есть просто неудача, а именно исторический выкидыш со всеми чертами, присущими подобного рода явлениям».

Отправной точкой для подобного рода толкований было восприятие революции как «отхода от национального идеала» с его «божьим замыслом о России» и неизбежной христианизацией не только личной, но общественно-государственной жизни. Заметны были влияния веховских положений о том, что «революция есть опаснейшая из болезней государственного и общечеловеческого целого», а эволюционный порядок усовершенствования государственных форм более соответствует христианству. Именно оно, якобы, исключало участие в этих процессах «взрывоопасных» народных масс.[30]

Однако обращение к русской идее диктовалось не только политическими соображениями. Скорее всего, оно отражало общий уровень мировоззрения и основные ментальные критерии, унаследованные из дореволюционной России и несшие на себе отпечаток интеллигентского самопокаяния и вечных поисков дороги к «подлинному пробуждению национального духа».[31] Не случайно подчеркивалось, что русская идея существовала и проявлялась на всем протяжении функционирования русской государственности, выступая как идея «державная», а не «разрушительная как красная».[32] Исходя из этого, Струве даже предлагал под крушением монархии подразумевать кру-

шение самой России, а Белое движение приравнивать к проявлению русского патриотизма с его «идеальными мотивами охраны веры, церкви и спасения государства».

Данная основоположником еще дореволюционной концепции «Великой России» характеристика Белого движения, относящаяся к ноябрю 1919 г., в общем-то, повторяла основные положения веховского сборника «Из глубины». В нем Струве также утверждал, что «Октябрь 1917 г. оказался национальным банкротством и мировым позором» и разрушительным этапом буржуазного по содержанию революционного процесса.[33] В последствии оно обрамлялось множеством красочных эпитетов. Выступавший 7 апреля 1926 г. на Зарубежном монархическом съезде в Париже член Высшего монархического совета А.М. Масленников говорил о «героических и высших моральных побуждениях» Белого движения, взывающих только к «подвигу самопожертвования».[34] 21 февраля 1936 г. Б. Суворин в статье «Первый поход», переизданной в парижском журнале «Возрождение», заявил, что «ненависть к добровольчеству, осмелившемуся не подчиниться Интернационалу с его звездой, выражалась в действительной сатанинской злобе против церкви и Бога». Один из идеологов Белого дела Н.Н. Львов также считал, что противники большевизма могли называться только «белыми» за чистоту своих идей.[35]

В своем развернутом и систематизированном варианте «образно-эмоциональные» параллели между белой и русской идеями получили развитие в фундаментальных работах русского философа И.А. Ильина. Его научная «школа» нашла немало единомышленников среди тех русских эмигрантов, которые старались совместить Белое дело с осмыслением его в русле православных ценностей российского монархического имперства. Ильин писал об огромной духовной силе противобольшевистского движения, проявлявшейся не «в бытовом пристрастии к родине, а в любви к России» как «подлинно религиозной святыне».[36] Для него Белая идея - это «идея религиозности» и одновременно борьба за «дело Божье на земле». Без этой идеи «честного патриота» и «русского национального всеединства», по убеждению философа, белая борьба была бы «обычной Гражданской войной». Мечтой Ильина было превращение в освобожденной от большевизма России («государственное лоно») Белого движения в «патриотический орден», «национальную политическую партию», поскольку «русская патриотическая традиция» могла существовать только в «государственно-здоровой России». Гарантией этого была «идея сердца», равнозначная идее «русского и государственного дела», которая сплачивала Белое движение даже в условиях отсутствия у него единой политической программы. Поэтому Ильин призывал «потопить и сословное, и классовое, и партийное дело в патриотическом и государственном».

«Освобождение России» не было для Ильина равнозначно «возрождению России», понимаемому как утверждение в сознании каждого человека христианских начал, а следовательно, и «Белой идее», и «Белой традиции». Тем самым Ильин одним из первых заявил о неидентичности «Белой идеи»

«Белой мечте» и о трагичных последствиях превращения первой в последнюю.

Говоря о Белой идее, нельзя обойтись без анализа взглядов лидеров зародившегося в 20-е гг. в среде российской эмиграции нового идейного течения - евразийства, которое стремилось объединить и белых, и красных для возрождения России. Отвергая марксистское понимание революции, они видели в ней прежде всего закономерное и неизбежное явление, первоначально связанное с политической жизнью, а в своем развитии - с разрушением экономического, социального и культурного укладов. Поэтому для евразийцев революция - это глубокое культурное потрясение, требующее осмысление русской истории с обязанностью морально-религиозных подходов к ее оценкам[37]. Доказывая неизбежность Октября 1917 и Гражданской войны, они отводили им роль того катализатора, который помог России превзойти Западную Европу и прежде всего страны Антанты в развитии «человеческого сознания». По оценкам П.Н. Савицкого, в ходе Гражданской войны исчезла «европейскость» России, и она стала «двуликой»: обратившись одним «ликом» к Европе, она «другим ликом» от нее отвернулась. По утверждениям П.П. Сувчинского, причина состояла в почти полном отсутствии у России «государственных навыков» и преобладании великодержавности как «предопределенной потенции… размаха и разлива всей народной сущности».[38] Однако, по мнению Г.В. Флоровского, Белое движение из-за «страстной торопливости, отравленной ядами междоусобной брани», не могло реализовать заложенную в нем правду «наивного и прямого нравственного сопротивления» и «отрицания мятежного зла».[39] С ним был солидарен И.А. Степанов, полагавший, что Белое движение не преследовало каких-либо «партийно-политических и имущественных целей» и как система идей никогда не существовало. Он выступал против любых патриотических эпитетов в адрес российской контрреволюции, особенно когда смешивались понятия патриотизма и лояльности к правящему режиму.[40]

Последнее было особенно важно для евразийцев, имевших весьма оригинальную концепцию роли и места интеллигенции в российской революции. Так, рассматривая интеллигенцию как одно из поколений носителей петербургской культуры в XIX в., Святополк-Мирский считал, что все ее силы «ушли в разрушение, в Революцию и в мечту» о «царстве Божием на земле», полностью иссякнув при разгроме «Народной воли». То, что осталось, было «телом без души с одной голой механической волей (революционные партии) или безо всего (вся остальная интеллигенция)». Именно они, по утверждению Святополка-Мирского, составляли «нижний ярус» петербургской культуры начала XX в. с ее напряженным предчувствием исторической смерти.[41]

В этом же направлении работал и Л.П. Карсавин, взяв за отправную точку своего исследования тезис о принципиальном различии между индивидуумом («свободная самоиндивидуализация») и симфонической личностью («согласованное множество индивидуумов сразу»).[42] Понимая под революцией «длительный процесс вырождения правящего слоя, уничтожения его

национальною государственною стихиею и создания нового правящего слоя», он рассматривал интеллигенцию («будирующую») как побочный продукт вырождения правящего слоя, которая предназначена для борьбы с правительством, в свою очередь, также производного от разложения правящего слоя. С его умиранием фактически прекращается и жизнь интеллигенции, «ничтожность» идеологии которой, считал философ, «находит себе блестящее подтверждение в государственной негодности интеллигенции». Однако решающую роль в процессе саморазложения всего правящего слоя Карсавин отводил народу, создающему новый слой и уничтожающему «обезглавившую себя интеллигенцию».[43]

Тем самым он опять-таки подчеркивал историческую отчужденность между «верхами» и «низами» русского общества, которая красной нитью проходит через исторические изыскания русских эмигрантов. И если Бердяев указывал на оторванность интеллигенции от «реального социального дела» и превращение ее в «монашеский орден или религиозную секту, объединенную исключительно идеями», то С.Н. Булгаков добавлял к этому еще «наследственное барство» и «просто некультурность, непривычку к упорному дисциплинированному труду и размеренному укладу жизни» интеллигента. «Не удивительно, делал поэтому вывод С.Л. Франк, что с крушением русской монархии рухнуло и все остальное - вся русская общественность и культура - ибо мужицкой России она была непонятна, чужда и - по его сознанию - не нужна». «Свобода пришла слишком поздно и слишком разом», - резюмировал Струве. - «Бурный поток своеволия», хлынувший в революцию 1917 г., «растопил государство и расплавил все рамки».[44]

В конечном итоге рассуждения все равно сводились к двум вопросам. Во-первых, как большевикам удалось захватить власть, и кто в этом виноват? И, во-вторых, как дальше будет развиваться большевистская Россия? Создание любого плана ликвидации этого режима (можно согласиться с М. Раевым) было тесно связано с ответом на первый вопрос.[45] Выйти из замкнутого круга было практически невозможно. Вобрав в себя цвет интеллектуальной элиты предреволюционной России, обладая большими творческими возможностями и уникальными политическим опытом, эмиграция, однако, не могла перешагнуть через «личные моменты», симпатии и антипатии, которые зачастую играли большую роль, чем тактические и программные вопросы. Она являла собой «микрокосм России», как считала Гиппиус, или «отколовшийся от нее кусок» вследствие «физического раскола России» по «продольной», а не по исторически сложившейся «поперечной» линии, который привел к тому, что за пределами России оказались «не те или другие слои, не те или другие элементы народной жизни, а все, сверху до низу», перемешавшиеся и перепутавшиеся.[46] И вряд ли в такой обстановке могли быть расставлены все точки над «i» и составлен хотя бы условно «фоторобот» главного российского «подсудимого».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Милюков П.Н. Эмиграция на перепутье.Париж,1926.С.70.

[2] Бунин И. Миссия русской эмиграции//Молодая гвардия.1999.№ 3-4.С.35, 37.

[3] См.: Посников С.П. Библиография русской революции и гражданской войны (1917 - 1921 гг.).Прага,1938.; Аранс Д. Как мы проиграли Гражданскую войну: Библиография мемуаров русской эмиграции о русской революции 1917 -1921 гг.Нью-Йорк,1988.

[4] Солоневич И. Белая империя.М.,1997.С.169.

[5] См.: Ушаков А.И. История Гражданской войны в литературе русского зарубежья: Опыт изучения.М.,1993; Павлова Т.Ф. Архивы российской эмиграции //Проблемы изучения истории российского зарубежья.М.,1993.С.78-85; Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе.М.,1991; Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции, 1919-1939.М.,1994.С.203-210; и др.

[6] См.: Варшавский В.С. Незамеченное поколение.М.,1992.Т.1.С.11; Люкс Л.К. К вопросу об истории идейного развития «первой» русской эмиграции// Вопросы философии.1992.№ 9.С.160.

[7] См.: Омельченко Н.А. Политическая мысль русского зарубежья: Очерки истории (1920 - начало 1930-х годов).М.,1997.С.105.

[8] Солоневич И. Указ. соч.С.210.

[9] Святополк-Мирский Д.Н. Чем объяснить наше прошлое? Чего ждать от нашего будущего? Париж,1926.С.6.

[10] Солоневич И.Указ.соч.С.159-160.

[11] Волкогонова О.Д. Образ России в философии русского зарубежья. М., 1998.С.250-251.

[12] Там же.С.37-40.

[13] Омельченко Н.А. Политическая мысль русского зарубежья.С.104-105.

[14] Бунин И. Указ.соч.С.38-39.

[15] Вишняк М.В. Два пути (Февраль и Октябрь).Париж,1931.С.3,49.

[16] Яковенко Б. Философия большевизма.Берлин,1921.С.5.

[17] Омельченко Н.А. Русский опыт: Революция 1917 года в России и политическая практика большевизма в общественно-политической мысли российского зарубежья (1917 - начало 1930-х гг.).М.,1995.С.70-72.

[18] Святополк-Мирский Д.Н. Указ.соч.С.7,14,27.

[19] Струве П.Б. Размышления о русской революции.София,1921.С.19,31-32.

[20] Солоневич И. Указ.соч.С.148,158,172.

[21] «Большевизм есть несчастье, но несчастье заслуженное»//Источник. 1991.№ 2.С.11-12.

[22] Локоть Т.В. Смутное время и революция.Берлин,1921.С.3,8,9,90,103.

[23] Андреев Л. Европа в опасности//Перед задачами времени: Политические статьи 1917 - 1919 г.Б.м.,1925.С.191.

[24] Керенский А.Ф. Рождение Февраля //Дни.1922.1 дек.

[25] См.: Святополк-Мирский Д.Н. Указ.соч.С.61; Струве П.Б. Указ.соч. С.17.

[26] Головин Н.Н. Российская революция в 1917 - 1918 гг.Париж,1927.Ч.1. Кн.1.С.8.

[27] Швиттау Г.Г. Революция и народное хозяйство в России (1917 - 1912 гг.).Лейпциг,1922.С.375.

[28] См.: Мельгунов С.П. «Российская контрреволюция».Париж,б.г.С.6; Он же. Н.В.Чайковский в годы Гражданской войны.Париж,1929.С.9.

[29] Общее дело(Париж).1919.19 февр.

[30] Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции//Из глубины: Сб. статей о русской революции.М.,1991.С.11,13.

[31] См.: Омельченко Н.А. «Веховская» традиция в духовной жизни русской эмиграции//Вопросы истории.1995.№ 1.С.40-58.

[32] Вильчковский О. «Не правду, а кривду»//Двуглавый орел(Париж). 1926.Вып.2.24 дек.С.15.

[33] См.: Стуве П.Б. Размышления о русской революции.С.7,24; Он же. Исторический смысл русской революции и национальные задачи//Из глубины.М., 1991.С.279.

[34] Возрождение (Париж).1926.7 апр.

[35] Львов Н.Н. Белое движение.Берлин,1924.С.3.

[36] См.: Ильин И.А. Идеология и белое движение//Возрождение(Париж). 1926.15 мая; Он же. Белая идея//Белое дело.Берлин,1926.Кн.I.С.7,9,10,15; Он же. Белая идея//Молодая гвардия.1992.№ 1-2.С.208,210,212; Он же. Наши задачи.М.,1992.Т.1.С.323.

[37] См.: Вандалковская М.Г. Историческая наука российской эмиграции: «евразийский соблазн».М.,1997.С.170-173.

[38] Предчувствия и свершения: Утверждения евразийцев.София,1921.С.1,4.

[39] Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. М., 1993.С.237.

[40] Степанов И. Белые, красные и евразийство.Брюссель,1927.С.1,8,15.

[41] Святополк-Мирский Д.П. Влияние смерти в предреволюционной литературе//Русский узел евразийства.М.,1997.С.359-361.

[42] Карсавин Л.П. Феноменология революции//Вандаловская М.Г. Указ. соч.С.250.

[43] Там же.С.264-267.

[44] Цит. по Омельченко Н.А. Политическая мысль русского зарубежья. С.127-129,134.

[45] Раев М. Указ.соч.С.19-20.

[46] Гиппиус З.Н., Кончаловский К.Р. Что делать русской эмиграции.Париж,1930.С.11; Даватц В. Годы:Очерки пятилетней борьбы.Белград, 1926.С.10.